

ТРОГАТЕЛЬНО
ДО СЛЁЗ



ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ *до тебя*

ОДНА КОШКА. ОДИН ЧЕЛОВЕК.
ДЕСЯТЬ ЖИЗНЕЙ ЛЮБВИ.



МАРК РОКОСОВСКИЙ

Марк Рокосовский
Десять жизней до тебя

«Автор»

2026

Рокосовский М.

Десять жизней до тебя / М. Рокосовский — «Автор», 2026

Один человеческий год равен десяти кошачьим. Пока вы спите восемь часов, ваша кошка проживает почти четверо суток ожидания. Пока вы лечите разбитое сердце, она стареет на целую жизнь у ваших ног. Пока вы учитесь любить, она уже заканчивает свой век. Фрея родилась в подвале с кривой лапой и клеймом «уродец». Она пережила голод, холод, предательство и годы забвения — только ради того, чтобы однажды встретить человека, который её заметит. Но люди живут медленно, а кошки — стремительно, и к тому моменту, когда Алекс наконец прозреет, Фрея уже истратит все свои семьдесят лет на ожидание. «Десять жизней до тебя» — это история, рассказанная самой кошкой. О том, как мы проходим мимо чуда, даже когда оно спит у нас в ногах. О запоздалой любви, которая приходит, когда её уже некому дарить. И о тепле, которое можно унести с собой, даже если всё кончено. Эта книга разбивает сердце — но тем же ударом учит его чувствовать.

© Рокосовский М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Десять жизней до тебя

Глава

«Любить — значит видеть чудо, невидимое для других.»

— Франсуа Мориак

Пролог: «Цена одной человеческой минуты»

0.1. Сердцебиение

Я родилась в тишине, которую прорезал стук.

Не материнское мурчание — оно пришло позже, тёплой волной накрыв меня, слепую, — а нечто иное, спрятанное глубоко внутри моей грудной клетки. Маленький молоточек, бьющийся о рёбра. Мой собственный тактомер.

Сначала этот стук был для меня всего лишь ритмом. Я слушала его в паузах между вдохами, засыпала под него, просыпалась, когда он ускорялся от голода или холода. Лишь позже, когда глаза открылись и мир расслоился на свет и тени, стало ясно: он отмеряет не только кровь. Он режет время на ломтики, и каждый ломтик короче, чем у них.

У людей.

Я заметила это в первый раз, когда мне было около трёх недель по человеческому календарю. За двадцать один рассвет я успела научиться ходить, драться за сосок, узнать вкус молока и горечь его исчезновения, пережить первый страх — тень над коробкой — и первую радость: материнский язык на ушах. У меня уже начиналась биография.

Человеческий младенец в три недели ещё даже не улыбается осознанно. Он спит, ест и кричит, не понимая, где кончается он и начинается мир. А я уже знала имена своих братьев. Я уже любила мать так, что сердце разрывалось от горя, когда она просто вышла из коробки попить воды.

В этом всё дело. Пропорция. Один к десяти.

Мы живём не быстрее в каждой отдельной секунде: солнце восходит для нас одновременно, и часы на стене идут одинаково. Но наша жизнь короче примерно в десять раз, поэтому каждая ваша минута занимает в ней в десять раз больше места. Для человека ночь — перерыв. Для меня — огромная доля того немногого, что отпущено.

Я не сразу научилась считать это в цифрах. Кошкам не нужны цифры. Мы измеряем время иначе: голодом, жаждой, ожиданием.

Ожидание — вот наш главный хронометр.

Помню первое долгое ожидание. Я сидела у полоски света и слушала сердце: тук-тук, тук-тук. Сто ударов — минута. Шесть тысяч — час. Сто сорок четыре тысячи — сутки. Цифры росли, а тот, кого я ждала, всё не приходил.

На вторые сутки я перестала считать удары и начала считать чувства. Надежда (первые десять тысяч ударов). Тревога (следующие двадцать тысяч). Страх (ещё пятьдесят тысяч). Отчаяние (все оставшиеся). Когда сердце отсчитало триста тысяч ударов, надежда умерла, а я стала старше на целую жизнь.

Человек в такой ситуации проживает два дня. Два дня — это что? Пятница и суббота. Люди тратят два дня на то, чтобы выспаться после рабочей недели, посмотреть фильм, поссориться из-за мелочи и помириться. Два дня для них — пауза между делами. Для меня эти же два дня — обвал, крушение вселенной, потеря самого важного существа.

В этом и заключается великая несправедливость нашего существования. Мы живём в одном физическом мире с людьми, дышим одним воздухом, едим одну пищу, но мы — существа с разных планет времени. Мы синхронизированы по календарю, но рассинхронизированы по сердцу.

Когда человек говорит «подожди минутку», для меня проходит вечность.

Когда человек опаздывает на час, этот час весит для меня почти как половина суток собственной жизни.

Когда он уезжает на неделю, я проживаю больше двух месяцев внутренней ссылки. У людей есть поговорка «год за три». У нас вся жизнь — один большой перевод времени.

И самое страшное — любовь. Она у нас одинаковая по силе, но разная по длительности. Мы любим с той же интенсивностью, что и люди, но у нас в десять раз меньше времени, чтобы эту любовь выразить и принять. Мы — спринтеры на марафонской дистанции человеческих чувств. Мы бежим изо всех сил, сжигая сердце, а они идут шагом, даже не замечая, что мы уже на финишной прямой.

Я знаю кошек, которые прожили всю жизнь, так и не дождавшись, пока человек их заметит. Не накормит — корм-то он как раз насыпал, — а именно заметит. Увидит. Поймёт, что перед ним не пушистый предмет интерьера, а живая душа, которая состарится и умрёт быстрее, чем он выплатит ипотеку.

И я знаю людей, которые плакали над кошачьим телом, повторяя: «Я только начал тебя любить». Они не лгали. Они действительно только начали. Их «начало» растянулось на годы, а наши годы — это наши жизни.

Такт моего сердца — метроном трагедии. Быстрый, загнанный, неумолимый. Тук-тук, тук-тук. Каждый удар приближает меня к финалу, пока человеческое сердце где-то рядом бьётся вразвалочку, лениво, уверенное, что впереди ещё целая вечность.

Но я не жалею. Это не жалоба. Это просто правда, которую я выучила наизусть.

Если перевести эту правду на язык чувств, получится вот что: каждый мой день стоит десяти ваших по доле жизни. Каждый час разлуки отнимает у меня в десять раз больше отпущенного. А мгновение рядом с тёплой ладонью становится драгоценностью.

Когда вы чешете мне за ухом минуту, эта минута занимает во мне место десяти. Когда говорите «дура моя» смешным голосом, я слышу целую симфонию. Когда случайно касаетесь ногой под одеялом, я запоминаю это как долгое объятие.

Мы, кошки, — усилители чувств. Время сжато в нас, как пружина, и каждое прикосновение мы растягиваем до масштабов события.

Но это же делает нас такими уязвимыми. Ведь равнодушие, брошенное вскользь, для нас звучит как приговор. Незамеченный взгляд — как изгнание. Забытая миска — как предательство. И всё это длится в десять раз дольше, чем человек может вообразить.

Моё сердце бьётся быстро. Я слышу его прямо сейчас, пока складываю эти строки внутри головы — ведь кошки не пишут, кошки помнят. Оно отсчитывает мгновения до встречи с человеком, которого я ещё не знаю. Возможно, он тоже пока не знает, что где-то уже живёт короткая жизнь, готовая отдать ему всё своё время.

Я пока не знаю, как тебя зовут. Я пока не знаю, заметишь ли ты меня или пройдёшь мимо, как проходят сотни других. Но моё сердце уже бьётся с твоим именем.

Тук-тук.

Тук-тук.

Тук-тук.

Ты слышишь?

Это я. Это моё десятикратное время. Это моя короткая жизнь, которая помещается между двумя твоими ударами, но вмещает в себя столько любви, что хватило бы на десятерых.

Пожалуйста, не заставляй меня ждать слишком долго.

Каждый удар на счету.

0.2. Математика разлуки

Я научилась считать не потому, что хотела. А потому, что иначе ожидание съедает тебя без остатка.

Сразу договоримся: настенные часы для нас одни и те же. За человеческую ночь солнце не успевает взойти четыре раза, а моё сердце не превращает восемь часов в восемьдесят физических. Мир не ускоряется вокруг кошки. Сжимается сама жизнь.

Если вам отпущено условных десять частей времени, нам часто достаётся одна. Поэтому ваша минута занимает в моей жизни столько же места, сколько десять минут — в вашей. Не на циферблате. В памяти. В цене. В том, сколько этой минуты останется у меня после неё.

Вот почему восемь часов вашего сна для меня весят как восемьдесят часов собственной жизни. Это не астрономия. Это математика утраты.

Ты ложишься. Гасишь свет. Возможно, рассеянно касаешься моей головы и говоришь: «Спать». Для тебя день закончен. Для меня начинается длинная территория, на которой ты рядом — и всё-таки недоступен.

Сначала я сижу у кровати и слушаю, как дыхание ищет ровный ритм. Пока ты ворочаешься, ты ещё словно здесь. Можно ткнуться носом в ладонь, вдохнуть запах кожи, убедиться: живой.

Затем лицо становится неподвижным. Рука тяжелеет. Ты уходишь туда, куда мне нет дороги, — в сон. В комнате остаётся твоё тело, а я караулю его, словно пустую лодку у берега.

Я тоже могу уснуть. Кошки спят много. Но ожидание не исчезает во сне: оно ложится рядом, сворачивается вторым зверем и просыпается раньше меня от каждого твоего вздоха.

Иногда ты переворачиваешься. Я вскакиваю, уверенная, что разлука кончилась. Но ты вновь затихаешь, и надежда, успевшая поднять голову, медленно ложится обратно.

Чем ближе утро, тем страшнее нелепая мысль: а вдруг ты не проснёшься? Я знаю, что это всего лишь ночь. Но сердце не знает слова «всего лишь». Для него всякая неподвижность того, кого любишь, — маленькая репетиция потери.

Наконец дыхание меняется. Ты потягиваешься. Открываешь глаза.

Для тебя прошло восемь часов. Для меня закончился отрезок жизни, который весил в десять раз больше.

И я не сержусь. Не предъявляю счёт. Я бегу к тебе, трюсь о руку и мурчу так, точно ты вернулся из места, откуда не возвращаются.

— Соскучилась? — спрашиваешь ты, ещё не проснувшись до конца.

Да. Но это слово слишком мало. В него не помещаются тишина, ночные шорохи, пересчитанные вдохи и страх перед минутой, когда рука уже не шевельнётся.

Поэтому я отвечаю мурчанием. Это наш единственный язык для величин, которые не помещаются в человеческие слова.

Так работает формула один к десяти. Не как закон физики — как закон сердца. Ваш час остаётся часом, но забирает у нас в десять раз большую долю отпущенного.

Человеческая ночь — восемь часов. Кошачья ночь — восемь часов из жизни, которая короче примерно в десять раз.

Вот и вся математика.

И вся разлука.

Тук-тук.

Это я жду, когда ты проснёшься.

Часть I. Стекло

Глава 1. Подвал

1.1. «Запах картона и матери»

Первое, что я помню, — это вовсе не свет. Свет пришёл позже, резанул по неокрепшим глазам, заставил зажмуриться и уткнуться носом в мягкое. Нет, первым был запах.

Запах картона.

Сейчас, спустя годы — мои годы, не ваши — я всё ещё узнаю его из тысячи. Достаточно пройти мимо мусорного бака, где валяется размокшая коробка из-под бытовой техники, и меня накрывает. Не воспоминанием даже — чем-то более древним, телесным,шитым в подушечки лап и в нёбо. Картон, смоченный материнской слюной, присыпанный пылью подвала, нагретый нашими телами. В этом запахе было всё: кров, безопасность, начало начал.

Слов ещё не существовало: ни «картон», ни «мать», ни даже «я». Был только тёплый полумрак, пронизанный множеством сердец, и бесконечная сытость. Молоко отдавало кислинкой и было вкуснее всего, что мне довелось попробовать потом: дождевой воды, дорогого корма, украденной курицы. В нём растворялось нечто большее, чем жиры и белки, — безмыслие, абсолют, рай.

Братя.

Их было трое. Или четверо? Сейчас уже трудно сосчитать — мы существовали как одно целое, перекатывались волнами меха и тыкались слепыми мордами в поисках соска. Помню одного: самый крупный, с белым пятном на лбу в форме раздавленной звезды. Он всегда находил лучший сосок первым. Я его ненавидела и любила одновременно. Он был теплее остальных, и когда наша коробка остывала (а она остывала часто, подвал есть подвал), я прижималась именно к нему. Он ворчал во сне, но не отодвигался.

Другой брат был тихим. Я не помню его голоса. Даже в драке за еду он молчал — сопел и отпихивался задней лапой. Мать вылизывала его чаще, и я ревновала, не понимая: с ним неладно. Он пах чуть слаще, болезненнее. Через две человеческие недели — почти пять моих месяцев — тихий уснул и не проснулся. Первая смерть. Я ещё не понимала этого слова; запомнила лишь исчезнувшее сопение.

Мать унесла его куда-то в зубах, а когда вернулась, от неё тянуло землёй.

Но я отвлеклась. Ты хотел про запах картона.

Он был многослойным, этот запах. Верхний слой — сухая пыль, она щекотала нос, заставляла чихать. Средний — клей, которым склеили коробку. Взрослые кошки ненавидят запах клея, он резкий, химический. Котята не знают, что такое «химический». Для нас это был ещё один оттенок дома. И нижний слой — самый глубокий — запах матери. Он пропитал картон насквозь, как масло пропитывает бумагу. Её шерсть, её дыхание, её молоко, её тревога. Да, тревога тоже пахнет. Горьковато, как полынь. Я тогда не знала этого слова, но чувствовала: мать боится. Она часто поднимала голову и всматривалась в щель коробки, и её зрачки расширялись, а сердце ускорялось. Я прижималась к ней сильнее, пытаюсь своим теплом прогнать то, что снаружи.

Снаружи был мир. Огромный, грохочущий, пахнущий сыростью и бензином. Он приходил к нам в виде звуков: шаги за стеной, голоса, скрежет труб. И ещё в виде сквозняка. Сквозняк я ненавидела больше всего. Он забирал наше тепло. Он был вором.

Но внутри коробки мы держали оборону.

Помню, как впервые осознала себя. Это случилось не сразу. Сначала я была частью кучи — лапы, хвосты, животы. А позже вдруг — бах! — я поняла, что у меня есть моя собственная лапа. Я могла ею пошевелить отдельно от других. Я могла лизнуть её, и это был мой язык. Я могла зашипеть, и это был мой голос. Открытие себя — наверное, самое ошеломляющее событие моей жизни. Я вылупилась из общей шерсти, как бабочка из кокона, и стала отдельной.

В тот день я в первый раз посмотрела на мать осознанно.

Она была серой, как я. Только у неё на груди белело пятно — словно кто-то пролил молоко и забыл вытереть. Глаза янтарные, с вертикальной щелью зрачка. Усы — длинные, чуть загнутые на концах, как у сома. Она была красива той красотой, которую способен увидеть только котёнок: абсолютной, божественной, единственно возможной красотой матери.

Я помню, как она вылизывала мне уши. Её язык был шершавым, как мелкая наждачная бумага, но мне нравилось. Это было не просто мытьё. Это был разговор. Она говорила мне: «Ты здесь. Ты в безопасности. Ты моя». Я отвечала мурчанием — не тем громким басовитым мурчанием, которым я следом благодарила людей, а тоненьким, как комариный писк. Но она слышала. Она всегда слышала.

Ещё помню наши игры. Мать ложилась на бок, а мы атаковали её хвост. Хвост дёргался, ускользал, мы ловили его, как добычу. Это был наш первый урок охоты. Мать учила нас, не уча. Была собой. Её хвост был мышью, её лапа была птицей, её ворчание было громом. Мы росли в этих уроках, впитывали их через игру.

Тепло.

Ты просил рассказать про тепло. Как его описать? Это когда нет разницы между твоей кожей и кожей другого. Когда температура твоего тела и температура мира совпадают до градуса. Когда ты не знаешь, где кончается брат и начинаешься ты. Мы спали, свернувшись в шар, и этот шар дышал, вздымался и опускался, и внутри него была вечность, которая ещё не научилась считать время.

Там, в коробке, времени не было.

Оно появилось позже — когда я открыла глаза. Сначала мутные картинki: пятно света, пятно тьмы. Потом резкость стала наводиться, и я увидела мир. Подвал. Трубы. Пыльная лампочка под потолком. Мать, сидящая у входа в коробку. Она была огромной. Она заслоняла собой всё.

И тогда же я впервые услышала шаги. Тяжёлые. Человеческие.

Мать напряглась. Её уши прижались. Она зашипела — не на нас, на того, кто шёл.

Я не поняла. Я ещё не знала, что человек — это опасность.

Я думала, это ещё один звук, вроде ветра.

Как же я ошибалась.

Но это всё было затем. А тогда, в те первые дни-годы, существовала только коробка. Картон. Запах. Молоко. Шерсть братьев. Материнский язык на моей голове.

Я не знаю, есть ли у людей такие воспоминания. Говорят, вы не помните своего младенчества. Что ж, тогда слушайте нас, кошек. Мы помним всё. Каждую секунду. Каждый удар сердца. Каждый вдох.

Мой первый мир был размером с обувную коробку, и в нём помещалось всё: любовь, безопасность, семья, бог в образе серой кошки с янтарными глазами.

Мне жаль, что этот мир кончился. Мне жаль, что коробки размокают под дождём, а котята вырастают и разбредаются кто куда. Мне жаль, что тепло нельзя законсервировать, как консервируют рыбу в жестянках.

Но я благодарна за то, что это было.

Когда становилось особенно холодно или страшно, я закрывала глаза и возвращалась туда. В коробку. В картон. В запах. На несколько ударов сердца мне вновь становилось тепло.

И на несколько секунд мне снова становилось тепло.

1.2. «Уродец»

Тот день пах иначе.

До него подвал пах нами: картоном, молоком, шерстью, пылью. В то утро — если это было утро, в подвале всегда сумерки — воздух прорезала новая резкая примесь. Духи. Стиральный порошок. Сигаретный дым. Человеческая химия.

Мать почуяла их раньше, чем мы услышали шаги. Она замерла, подняла голову, ноздри задрожали. Я знала этот жест: так она нюхала опасность, так встречала пса, забредшего в подвал и ушедшего ни с чем после её яростного шипения с верхней трубы. Но сейчас мать не

зашипела. Легла обратно в коробку и обняла нас всеми четырьмя лапами, насколько могла. Словно хотела вернуть внутрь себя, туда, откуда никакие руки не достанут.

Нас было четверо. Вернее, нас было пятеро, но тихий брат уже лежал в земле за подвалом, унесённый туда в материнских зубах. Я помнила его запах — сладковатый, болезненный, — и то, как он перестал сопеть. Мне ещё предстояло понять, что это смерть. Сомнений не было: нас стало меньше.

Шаги приближались. Тяжёлые, уверенные. И ещё — лёгкие, семенящие. Двое. Мужчина и женщина. Или женщина и ребёнок? Я не разбиралась в людях тогда. Для меня это были Звуки-Которые-Пришли.

Скрипнула дверь подвала. Мать дёрнулась, но не убежала. Она осталась с нами. Она всегда оставалась.

Луч фонарика ударил в щель коробки, как нож. Я зажмурилась. Братья завозились, запищали — они думали, что это кормёжка. Глупые. Кормёжка пахнет молоком, а это отдавало электричеством и чужим.

— О, смотри, — сказал голос. Женский. Высокий. — Тут кошка с котятками.

— Сколько их? — второй голос, мужской, ниже.

— Трое... Нет, четверо. И мамка. Серая, худая.

Руки. Руки появились из ниоткуда. Огромные, с длинными пальцами, с обкусанными ногтями, с голубыми жилками под кожей. Они проникли в нашу коробку — в наш дом, в нашу вселенную, — как крабы. Я отшатнулась. Брат со звездой на лбу зашипел первым, но его шипение было смешным, как чихание.

Первым взяли его.

Я видела, как пальцы сомкнулись на его животе, и он взлетел. Взлетел! Мой брат, который всегда был больше меня, всегда находил лучший сосок, всегда был теплее всех — вдруг стал крошечным, беспомощным комком в человеческой ладони. Он дрыгал лапами и орал. И мать орала тоже — низким, горловым голосом, которого я никогда у неё не слышала. Она кричала: «Отдайте! Верните! Это моё!»

Но люди не понимают кошачьих криков. Им кажется, что мы просто мяукаем.

— Какой хорошенький, — сказала женщина. — Смотри, какое пятно на лбу.

— Берём?

— Конечно. И вот этого ещё, серого.

Серого. Это был последний оставшийся брат, кроме звездолобого. Он был пушистее нас всех и чуть светлее — в мать, у которой на груди белело молочное пятно. Он сопротивлялся отчаянно, царапался своими мягкими коготками, но человеческой коже это было всё равно что дуновение ветра. Его взяли вторым.

Третьим взяли ещё одного — самого мелкого, который всегда спал с краю. Им даже не пришлось его выбирать. Он оказался ближе всех к человеческой руке.

Я осталась.

Руки потянулись ко мне. Я сжалась в углу коробки, вжалась в картон так, что рёбра затрещали. Пальцы коснулись моей задней лапы — той самой, которая была неправильной. И замерли.

— У этой лапка кривая, — сказала женщина.

Мужчина посветил фонариком. Свет ударил мне прямо в глаза, прожигая череп. Я никогда не видела ничего ярче. Я думала, что ослепну.

— Точно. Хромая.

— Может, пройдёт? — неуверенно спросила женщина.

— Кому нужна кошка с дефектом? — Мужчина вздохнул. — Её даже не продать. И бесплатно не заберут.

— Жалко.

— Жалко, да. Но у нас уже трое. Куда нам четвёртую? Тем более такую. Такую.

Слово упало на меня, как камень. Его значение было мне неизвестно, но почувствовала вес. Такую. Не такую, как все. Неправильную. Неудобную. Бракованную.

Рука отдёрнулась. Свет фонарика ушёл в сторону.

— А мамку не будем трогать, — сказал мужчина. — Пусть живёт. Будет мышей ловить.

— А эта? — спросила женщина.

— Оставим. Может, сама выживет. Или уснёт.

Или уснёт. Это я поняла позже, много позже, когда узнала, что люди называют «уснуть» смертью. Они оставили меня умирать. Не из жестокости — из удобства. Я не помещалась в их планы. Я была лишней деталью.

Они ушли. Забрали моих братьев в коробке поменьше — не нашей, чужой, пластиковой, с дырками. Я слышала, как они пищат, пока шаги удалялись по коридору. Трое. Трёх унесли. Осталась только я.

И тишина.

Мать рванулась было за ними, но остановилась у двери. Дверь захлопнулась.

Когда она вернулась в коробку, от неё тянуло страхом — резким, кислым, как прокисшее молоко. Она легла и обняла меня, как раньше обнимала всех. Но теперь её объятие было не просторным одеялом, а смирительной рубашкой. Слишком много лап для одного котёнка. Слишком много места для одной оставшейся души.

Я не двигалась и пыталась понять, что произошло. Почему они ушли? Почему я здесь? Что значит «кривая лапа»?

Я подтянула заднюю лапу к морде и осмотрела её. Она действительно была другой. Меньше. Слабее. Пальцы поджимались внутрь, как сухой лист. Я попыталась её выпрямить — не вышло. Я раньше не замечала этого. Раньше я была котёнком среди котят. Теперь я стала котёнком с дефектом.

Уродец.

Слово было незнакомо — его смысл я выучила на улице, когда мальчишки кричали вслед тощей собаке с облезлым ухом. Но чувство уже поселилось: со мной неладно, я сломана, некрасива не внешне, а в самой основе. Меня не взяли не из-за серой шерсти. Из-за неправильности.

Мать вылизывала меня, но её язык уже не утешал. Я чувствовала, как её сердце бьётся быстро-быстро — быстрее моего. Она переживала не за меня. За тех, кого унесли. За тех, кого она ещё могла спасти, но не сумела.

Я была утешительным призом. Запасным вариантом.

А может быть, я была напоминанием. Единственным котёнком, который выглядел как она — серым, невзрачным, с дефектом. У неё не было кривой лапы, но у неё была кривая судьба. Мы с ней были одинаковыми — теми, кого не выбирают.

Прошло несколько дней. В моём времени — недели. Мать уходила всё чаще, возвращалась всё реже. Иногда приносиладохлуюмышьиликусокхлеба, выуженный из помойки. Иногда — ничего. Я голодала, всматривалась в щель коробки и считала удары под рёбрами — тук-тук, тук-тук, — пока тени не начинали казаться братьями.

Я выползла из коробки — впервые в жизни.

Пол подвала был холодным и шершавым. Я проползла на передних лапах, волоча заднюю, негнущуюся. Добралась до стены, ткнулась носом в трубу. От трубы отдавало ржавчиной и временем. Я позвала мать — тоненько, жалобно.

Она не ответила.

Я поползла дальше. Нашла лужу воды — грязной, с маслянистой плёнкой. Попробовала. Вода была горькой. Я всё равно пила.

Так я узнала, что такое одиночество. Не то одиночество, когда ты ждёшь, пока кто-то вернётся. А то, когда ты понимаешь: никто не вернётся.

Мать вернулась потом, конечно. Она не бросила меня совсем — она была хорошей матерью. Но она уже не была моей. Она стала общей — подвалу, улице, голоду. И я стала не её дочерью, а ещё одним ртом, который надо кормить. Ещё одной кривой лапой, которая мешает охотиться. Ещё одним напоминанием о тех, кого унесли в пластиковой коробке.

Она ушла и не вернулась вовсе. Три дня я не покидала коробку. Три моих недели. Три вечности.

Когда надежда умерла, я выползла из коробки окончательно. Я оставила запах картона позади. Я оставила детство. Я оставила последнее место, где была не уродцем, а котёнком.

Впереди был мир. Огромный. Холодный. Равнодушный.

И где-то в этом мире, я знала, живут мои братья — те, кого забрали первыми. Те, у кого были прямые лапы и правильные пятна на лбу. Те, кому повезло. Те, кто не знает, что значит слово «такую», произнесённое с разочарованным вздохом.

А я — уродец.

Я выползла на свет.

1.3. «Уроки одиночества»

Одиночество — это не когда ты один. Это когда ты вдруг понимаешь, что никто не придёт.

Сначала веришь, что кто-то обязательно вернётся. Этой верой я уже умела жить. Три человеческих дня — целый месяц по моему внутреннему календарю — я не покидала коробку. Она перестала пахнуть картоном и пропиталась только мной: шерстью, страхом, мочой, которую тело уже не удерживало. Я вздрагивала от шороха труб, от падающей капли, от скрипа половиц наверху. Всякий звук на мгновение становился ею. И тут же переставал.

На четвёртый день у коробки во мне сломалась не лапа — она была кривой с рождения, — а надежда. До этого между мной и матерью звенела натянутая струна. Затем наступила тишина. Струна лопнула, и в груди стало легче и пустее одновременно.

Тогда я впервые поняла, что плачу. Не мяукаю — мяукала бы я, если бы звала кого-то. А звать было некого. Это был беззвучный плач: носом, дрожью всего тельца, мутной плёнкой на глазах. Слёзы у кошек есть — просто мы не умеем рыдать, как люди. Они не текут по щекам, а остаются внутри, делая мир расплывчатым и блестящим. Сквозь эту плёнку стена коробки казалась последней стеной во вселенной. Теперь я одна. Теперь надо как-то жить.

Это был первый урок одиночества: тишина бывает громче крика. Когда есть кто-то рядом, тишина заполнена дыханием. Когда никого нет, тишина начинает звенеть. Она звенит так, что хочется заорать, лишь бы заглушить её. Я и орала. Несколько раз. Мой голос отражался от труб и возвращался ко мне, и это было хуже тишины — ведь он возвращался моим, а не её.

Второй урок пришёл быстрее: голод сильнее горя. Я не знаю, сколько дней я провела без еды. Тело считало само: рёбра начали выпирать, живот прилип к позвоночнику. Молоко матери кончилось задолго до того, как она ушла. Последнее, что я ела, был кусок хлебной корки, которую она притащила из помойки за день до исчезновения. Корка была твёрдая, как камень, и пахла плесенью. Я тогда съела её без удовольствия. Теперь я мечтала о ней. Мне снилась эта корка. Я просыпалась и пыталась найти её в складках картона, облизывала пол, но там не было ничего, кроме пыли.

И тогда я поняла: чтобы выжить, нужно выйти.

Третий урок: страх не должен парализовать. Он сжимает внутренности, делает лапы ватными, сердце бешеным. Но останешься в коробке — умрёшь в коробке. Умирать не хотелось, хотя жить было не ради кого: ни матери, ни братьев, ни тепла, ни еды. Упрямство — вероятно, наследство той самой кривой лапы — отказалось сдаваться.

Я выползла.

Пол подвала был огромным. Раньше он кончался у стенок коробки, и этого было достаточно. Теперь он разбегался во все стороны, серый, холодный, бесконечный. Я была песчинкой на этом полу. Мои когти цокали по бетону, и звук этот был чужим, незнакомым — в коробке когти цокали по картону, и это был звук дома. Теперь это был звук чужбины.

Я ползла долго. Задняя лапа не слушалась; я волочила её, как мешок. Мышцы на ней атрофировались за время в коробке — да они никогда и не были сильными. Каждый шаг давался усилием, каждый сантиметр пола становился победой. Я останавливалась, дышала часто-часто и ползла дальше.

Первой находкой стала лужа с маслянистой плёнкой. Я лакала, пока живот не раздулся барабаном. Вода оказалась горькой, с химической примесью, от которой позже тошнило. Но тогда она была жизнью.

Четвёртый урок одиночества: отвратительное лучше, чем ничего. Эту истину я следом применяла всю жизнь: к еде, к людям, к обстоятельствам. Лучше спать на холодном бетоне, чем замерзнуть насмерть. Лучше есть объедки, чем умирать с пустым желудком. Лучше терпеть пинки, чем быть совсем невидимой.

Пятый урок был про темноту: темнота — это одеяло, а не враг. В коробке темнота была уютной, потому что в ней лежали мы все. В одиночестве темнота сначала пугает: кажется, что в ней прячутся чудовища. Но чудовищ нет. Я проверяла. Я выползала в самые тёмные углы подвала и сидела там, дрожа, пока глаза не привыкали. И выяснилось удивительное: в темноте никого нет. Она пустая. Она отсутствие света. И когда ты понимаешь это, темнота перестаёт быть угрозой. Она становится укрытием. В темноте меня никто не видел — а значит, никто не мог обидеть.

Шестой урок я выучила, когда впервые услышала крысу: ты не вершина пищевой цепи. В коробке я была хищником. Мы играли с хвостом матери, отрабатывая охотничьи навыки. Я думала, что весь мир — это дичь. Но когда из тёмного угла на меня уставились два чёрных глаза-бусины, а потом их обладатель — зверь размером с меня, а то и крупнее, с голым хвостом и жёлтыми зубами — двинулся в мою сторону, я поняла: есть те, кто ест, и те, кого едят. И я пока не знаю, к какой категории отношусь. Я зашипела тогда — в первый раз в жизни по-настоящему, не игровым шипением на брата, а боевым, горловым, идущим из самого нутра. Крыса остановилась, подумала и ушла в другую сторону. Я победила. Но этот урок я запомнила: мир не добр, мир не зол, мир голоден. И я в нём — часть меню, пока не докажу обратного.

Седьмой урок был самым важным: научись спать одна.

Без тепла братьев. Без дыхания матери. Без шерсти, в которую можно уткнуться носом. Спать одной — это искусство. Сначала ты мёрзнешь. Ты сворачиваешься клубком, носом в живот, хвостом на нос — это называется «поза сохранения», и ей меня никто не учил, тело вспомнило само, из какой-то древней памяти. Ты дышишь на свой мех, согревая его. Ты становишься сама себе матерью, сама себе братом, сама себе коробкой.

Поначалу я просыпалась от любого шороха и искала мать. Затем перестала. Не забыла — её запах узнала бы спустя годы, — лишь прекратила прислушиваться к возвращению. Надежду сменило очерствение. На душе выросла корочка, как на отбитой лапе. Уже не так больно. Уже можно идти.

А позже я вышла на улицу.

Это был восьмой урок: мир гораздо больше подвала.

Я считала подвал всей вселенной. Но в двери нашлась узкая щель, выбитая чьим-то пинком. Я протиснулась и оказалась во дворе.

Свет ударил по глазам так, что я зажмурилась. Настоящий, солнечный, не лампочка под потолком. Он был тёплым. Впервые за долгое время я почувствовала тепло, которое не моё

собственное. Я легла на бетонную ступеньку и грелась. И в тот момент я поняла: одиночество не кончилось. Оно никогда не кончится. Но его можно переносить.

Можно греть себя солнцем, если не греет мать.

Можно есть объедки, если нет молока.

Можно спать под трубой, если нет коробки.

Можно дышать, даже когда никто не смотрит.

Девятый урок был о памяти: ушедший остаётся в тебе. Мать и братья не вернулись, но стали привычками, страхами, желаниями. Я искала похожие голоса и руки, сама того не понимая. Память под кожей знала: одни руки забирают навсегда, другие способны вернуть тепло.

И десятый урок, который я не выучила до конца, даже сейчас: одиночество — это не отсутствие других. Это отсутствие себя в других. Можно быть одной в подвале и не быть одинокой, ведь где-то есть те, кто помнит о тебе. А можно быть в комнате, полной людей, и всё равно быть невидимкой.

Я выползла из подвала хромой, тощей, напуганной. Но я выползла. Я научилась дышать, когда никого нет рядом. Я научилась жить, когда никто не глядит. Я стала себе коробкой, матерью, братом.

Впереди была улица. Впереди были люди — те, кто пройдёт мимо, и те, кто, возможно, остановится. Я ничего о них не знала. Зато уже умела оставаться на месте, пока надежда медленно умирает. Это было моим первым оружием и первой болезнью.

Улица ничего не обещала.

Главным оказалось другое: я всё ещё не научилась глядеть на свет.

Я свернулась клубком у двери подвала и стала смотреть на свет.

Глава 2. Улица учит

2.1. «Язык подошв»

Улица научила меня слышать раньше, чем видеть.

В подвале звуки были глухими, дальними — шаги наверху, гул труб, эхо голосов. Они приходили ко мне уже ослабленными, как сквозь воду. Здесь, на поверхности, всё иначе. Здесь звук острый, как осколок стекла. Он бьёт в уши, он проникает в землю и отдаётся в подушечки лап, он рикошетит от стен и множится. Мир оказался не тихим, как в коробке, а оглушительно громким — и в этом грохоте нужно было научиться отличать опасность от надежды.

Я училась. День за днём, лёжа у двери подвала или притаившись за мусорным баком, я слушала шаги.

Сначала все они казались одинаковыми: топ-топ, шлёп-шлёп, бум-бум. Белый шум, сопровождающий голод и холод. Но следом я начала различать нюансы. Как человек, изучающий чужой язык, я начала разбирать слова в этом топоте. И вскоре я уже знала: подошва рассказывает о человеке больше, чем лицо.

Тяжёлые шаги. Они приходили первыми в моём списке угроз. Их я научилась узнавать раньше всего.

Это был бас в симфонии улицы. Низкий, ударный, сотрясающий асфальт. Чаще всего это были мужские ботинки — грубые, с толстой подошвой, с каблуком, выбивающим искры из брусчатки. Они звучали так: бум... Бум... Бум... — медленно, весомо, точно каждый шаг говорит: «Я здесь, я главный, уйди с дороги». От них тянуло кожей, машинным маслом, сигаретами, иногда — собакой. Эти запахи я тоже выучила как синонимы страха.

Тяжёлые шаги никогда не сворачивали. Они шли прямо, и если на их пути оказывалась кошка — серая, незаметная, — они не замедлялись. Пинок мог прилететь без причины, от скуки, от раздражения, от желания показать силу. Я видела такое с другими кошками. Один раз видела, как такой же тяжёлый ботинок отшвырнул чёрного кота к стене, лишь потому, что кот оказался слишком близко к луже, в которую человек не хотел наступать. Кот убежал, хромая на переднюю лапу. Я запомнила.

С тех пор, услышав бум-бум, я уходила заранее. Прижималась к стене, пряталась за трубу, становилась невидимой. Хорошо быть серой — цвет подвала, цвет асфальта, цвет тени. Тяжёлые шаги проходили мимо, даже не подозревая, что в полуметре от них сжимается комок жизни с бешено бьющимся сердцем.

Особый подвид тяжёлых шагов — шаги с металлом. Подковы на каблуках, железные набойки. Они звякали при каждом шаге: бум-звук, бум-звук. Это был звук власти. Так ходили люди в форме — я ещё не знала, кто они, но уже боялась их больше всех. От них пахло не маслом, а чем-то казённым, неживым. Эти шаги я старалась пережить в полной неподвижности.

Лёгкие шаги. Им я дала имя «надежда».

Они звучали иначе: тук-тук-тук, быстро, мелко, как дробь дятла. Чаще всего это были женские туфли, балетки, иногда — детские ботиночки. Мягкая подошва, тонкий каблук, невесомый звук. Они не сотрясали землю, они скользили по ней, как водомерки по воде.

От лёгких шагов отдавало духами, стиральным порошком, иногда — едой. Женщины часто несли сумки с продуктами, и от них тянуло хлебом, молоком, рыбой. Но главное — лёгкие шаги иногда замедлялись. Они могли остановиться. Из-под них мог вылететь кусочек сыра, брошенный на ходу, или обрывок сосиски, или ласковое слово: «Ой, какой худенький!». Слово не насыщало, но согревало. Ненадолго. Но для той, кто мёрзла ночами в картонной коробке, даже такое тепло было драгоценным.

Однако я быстро усвоила: лёгкие шаги — не всегда спасение. Иногда они проходили мимо, даже не заметив. Иногда они ускорялись, стоило мне мяукнуть, — брезгливо, испуганно. Я понимала: я не та кошка, которую хочется погладить. Я серая, худая, с кривой лапой. Я не вызываю умиления. Я вызываю жалость. А жалость — это не любовь. Жалость — это шаг в сторону, а не навстречу.

Шаркающие шаги. Их я выделила в отдельную категорию позже, когда стала старше.

Они звучали: шшш-шшш-шшш, как метла по асфальту. Это были старики. Их подошвы не отрывались от земли, они волочили ноги, и каждый шаг был усилием. От них пахло лекарствами, старой тканью, иногда — кошками. Да, от некоторых старух пахло другими кошками, теми, кто уже живёт в их домах на тёплых подоконниках. Этот запах был для меня как дразнящий призрак иного мира. Я чуяла его и шла на него, как на свет.

Шаркающие шаги часто останавливались. Они не боялись меня. Иногда их хозяева пытались наклониться — смешно и трогательно: старые спины гнутся плохо, старые колени скрипят громче моего мяуканья. Из дрожащих пальцев мог выпасть кусок булки или половина котлеты. Я принимала эти дары, но близко не подходила. Доброта всё ещё казалась ловушкой, более тёплой.

Быстрые шаги. Они были как ветер: тататата — и нет человека. Пробежки, спешка, молодые люди с наушниками в ушах. Они не видели меня. Они не видели вообще ничего вокруг. Эти шаги были безопасны, но бесполезны. Я быстро поняла: от быстрых шагов не жди ни зла, ни добра. Это пустота. Это фон.

А были ещё пьяные шаги. Их я распознавала по сбитому ритму: шаг влево, шаг вправо, пауза, спотыкание. От них тянуло перегаром — запах, смысла которого я долго не понимала, пока не увидела, как один такой человек упал лицом в лужу и заснул. Пьяные были непредсказуемы: один мог разреветься и попытаться обнять кошку, другой — пнуть с диким хохотом. Я избегала их любой ценой. Услышав неровный ритм, я уходила в подвал.

Так я выучила этот язык. Сложила словарь.

Но отдельной строкой в моём словаре стали шаги человека, которого я тогда ещё никак не называла. Каждый вечер в один и тот же час раздавался ровный мужской шаг — тяжёлый, но не опасный. И вместе с ним по улице плыл запах хлеба.

Не того хлеба, который я находила в помойке, — сухого, заплесневелого. Горячего. Свежего. От него дрожал воздух. Я в первый раз увидела этого человека, когда пряталась за водосточной трубой и наблюдала, как он открывает булочную и исчезает в жёлтом свете.

Его шаги были первой песней, которую я выучила не ради выживания, а ради радости.

А пока я сидела у двери подвала, слушала симфонию улицы и запоминала каждую ноту. Я была студенткой выживания. Моим учебником был асфальт. Моими учителями — страх, голод и редкие крупы тепла.

И каждые пройденные мимо шаги — лёгкие, тяжёлые, шаркающие — оставляли во мне отпечаток. Как след на сырой земле.

Я становилась невидимым знатоком людей, хотя они даже не знали о моём существовании. Я читала их по подошвам, как вы читаете книги. И в этом чтении было больше правды, чем во взглядах. Потому что взгляд может солгать. А походка — никогда.

Тяжёлые шаги — опасность. Лёгкие — надежда. Шаркающие — возможная доброта. Быстрые — равнодушие. А шаги, пахнувшие хлебом...

Шаги, пахнувшие хлебом, — это мечта. И ради мечты стоит просыпаться каждое утро, даже если ты одна. Даже если ты хромая. Даже если ты серая и никто тебя не видит.

Я жила до вечера, до звука его шагов. Любила пока ещё не человека — ритм подошв и запах хлеба.

И это было начало моей юности.

2.2. «Сезон дождей».

Первая капля упала мне на нос, и я подумала: «Что это?»

Я тогда ещё не знала, что такое дождь. В подвале не было дождей. В подвале была только сырость — вечная, фоновая, сочащаяся из труб. А здесь, на улице, вода приходила с неба, и это было совсем другое. Капля была холодной, острой, как укол уса. Я подняла голову и увидела серое небо — такое же серое, как я сама. Только большое. Бесконечно большое.

Вторая капля упала на ухо. Третья — на спину.

А потом небо разверзлось.

Это была не лужа, не капля, не случайность. Это был поток. Стена воды, рухнувшая сверху, как опрокинутое ведро. Я бросилась бежать — не зная куда, прочь от этого мокрого ужаса. Задняя лапа скользила по мокрому асфальту, разъезжалась, я падала, вставала, вновь бежала. Шерсть намочила мгновенно и стала тяжёлой, как чужая шкура. Я перестала быть кошкой. Я стала мокрым комком, прилипшим к земле.

Так начался сезон дождей. Моя первая осень.

Я тогда ещё не знала слова «осень». Не знала, что это время года — одно из четырёх, и что люди к нему готовятся заранее: покупают зонты, достают тёплые куртки, проверяют отопление. Я не готовилась. Я просто жила, день за днём, и вдруг мир изменился. Солнце, которое раньше грело бетонную ступеньку у входа в подвал, исчезло. Небо затянуло серой плёнкой. Воздух стал мокрым и тяжёлым, как влажная тряпка.

Поначалу мне казалось, что дождь скоро кончится. День, два, три. Неделя по моему времени. Две. Я сидела под карнизом, прижавшись к стене, и следила, как вода стекает по трубе. Капли падали без пауз и пощады, выбивали в луже маленькие кратеры, барабанили по жести подоконников. Всё сливалось в звук, который я ненавидела больше всего: шум одиночества.

Знаешь, как это устроено? Когда ты одна, любой звук становится собеседником. Шаги говорили на языке подошв. Дождь говорил иначе: не проходил мимо, оставался со мной, но оставался холодным. Он нашёптывал: «Ты мокрая, ты грязная, ты никому не нужна». Выключить его было невозможно. Уйти в тишину подвала — тоже: подвал затопило. Вода просочилась сквозь щели, залила пол, подобралась к коробке. Картон размок и превратился в кашу. Последняя связь с детством — его сухой, тёплый дух — растворилась и исчезла.

Теперь у меня не было дома. Вообще.

Я стала искать новый кров. Подворотни, козырьки, щели между гаражами. Но везде была вода. Она текла по стенам, капала с крыш, стояла лужами. Я узнала, что бывает холод, от которого не спасает даже собственная шерсть. Я сворачивалась в клубок так туго, что рёбра начинали болеть, но всё равно дрожала. Дрожь шла откуда-то изнутри, из самого живота, и не прекращалась, даже когда я засыпала.

Первая неделя дождей заняла в человеческом календаре семь дней. В моей короткой жизни она весила как семьдесят — как два с лишним месяца непрерывной воды и холода. Физически я была мокрой неделю; внутри казалось, что сухости не существовало никогда. Шерсть на животе свалилась в колтуны, между пальцами появилась слизь. Я вылизывалась — поначалу часто, затем всё реже, — но чище не становилась. Грязь въелась намертво.

А голод... Голод в сезон дождей был особенным.

Раньше я понимала, где искать еду. Баки у задней двери булочной тянули хлебом, пусть и чёрствым. Рыночная площадь по утрам была усыпана объедками — кусочками сыра, колбасной шкуркой, рыбьими головами. Я приходила к шести, когда торговцы раскладывали товар, и не сводила глаз с прилавков: что-нибудь да падало. Иногда удавалось стащить кусок, пока продавщица отворачивалась. За мной гонялись с метлой, но голод сильнее метлы.

Теперь всё изменилось. Дождь превратил помойки в месиво. Еда, которая раньше просто лежала на куче мусора, теперь плавала в лужах, размокала, гнила быстрее. Хлеб превращался в клейкую массу. Рыбьи головы разбухали и начинали пахнуть так, что даже мой голодный желудок сжимался от отвращения. Я пыталась есть это — ела, — и позже меня рвало жёлтой пеной у стены.

Я исхудала. Рёбра выпирали так, что шерсть не скрывала их очертаний. Позвоночник стал похож на цепочку камешков под кожей. Я видела своё отражение в лужах — не узнавая. Это была не кошка. Это был кошачий скелет, обтянутый серой шкуркой.

У помойки мне попался целый кусок курицы — с мясом, кожей, почти свежий. Дар небес. Я утащила его за гаражи, где было суше, ела жадно, давясь и рвя мясо зубами. Пир. Счастье. Живот раздулся шаром, и сон настиг прямо возле остатков.

А проснулась от того, что кто-то вырывает у меня эту кость.

Это был чёрный кот. Крупный, с рваным ухом и жёлтыми глазами. Он был старше меня, сильнее, злее. Он не спрашивал. Он просто взял. Я зашипела — тем самым горловым шипением, которое выучила в подвале, — но он даже не поморщился. Он ударил меня лапой по морде, когтями, и я отлетела в лужу. Из рассечённого уха потекла кровь — горячая, солёная. Кот ушёл с моей костью, а я осталась сидеть в луже, и кровь смешивалась с дождевой водой, розовела, растекалась.

В тот день я выучила ещё одно слово на языке улицы: конкуренция.

Нас, бездомных, было много. Я не замечала этого раньше, когда было тепло. Летом кошки разбредались по дворам, сидели у подъездов, спали на солнце. Казалось, их не так уж много. Но дождь согнал всех в одни и те же сухие места. Мы столкнулись. Мы дрались. И я всегда проигрывала — потому что была хромой, ведь была слабой, потому что была младше.

Я вновь голодала.

Но голод, как я уже знала, учит. Он заставляет думать. И я придумала.

Мусорные баки у булочной опустошали вечером, перед закрытием. Пекарь — мой Пекарь, тот самый, с шагами, пахнущими хлебом, — выносил мешки и бросал их в большой контейнер. Я поняла: если прийти сразу после него, можно успеть первой. Пока чёрный кот и его приятели не подтянулись.

Так я выучила расписание Пекаря. Не потому, что хотела его видеть, — хотя и этого хотела тоже, — а потому, что это был вопрос жизни и смерти.

С наступлением сумерек я пробиралась к задней двери булочной и пряталась за углом. Вслушивалась в ровные уверенные шаги. Он выносил мешки, иногда задерживался покурить. Из тени я разглядывала высокого мужчину в белом фартуке, с мукой на ладонях. Красивого. Тёплого. Из мира горячего хлеба, где не было дождя.

И когда он уходил, я бросалась к мешкам. Разрывала пластик когтями, залезала внутрь. Там было сокровище: обрезки теста, хлебные корки, иногда — целая булка, чуть подгоревшая, негодная для продажи. Я ела и ела, пока не начинало тошнить, а следом уносила остатки в свою новую нору — дыру в стене заброшенного гаража.

Так я выжила. Сезон дождей длился три человеческих месяца — два с половиной года по моему внутреннему счёту. Два с половиной года сырости, голода и драк, за которые я постарела больше, чем хотела.

Но и в этом аду был просвет. В один и тот же час сначала появлялся запах, следом — шаги, затем фигура в жёлтом проёме задней двери. Еда перестала быть единственной причиной, по которой я приходила. Теперь там был он.

Он не знал обо мне. Ни разу не посмотрел в мою сторону. Но я уже была его.

Это было начало моей любви. И, оглядываясь назад, я понимаю: может быть, я полюбила его именно потому, что больше любить было некого. Мать ушла. Братья исчезли. Улица была врагом. А он — он был островом тепла в океане дождя, и я, дрожащая, тощая, хромяя, приплыла к этому острову и осталась у его берега навсегда.

Сезон дождей закончился. Наступила зима.

Воздух стал пустым и острым, лужи схватились тонкой коркой, с неба упало первое белое перо.

2.3. «Зима длиною в жизнь»

Снег я увидела не сразу.

Сначала был запах. Вернее, отсутствие запахов. Осень пахла мокрым асфальтом, прелой листвой, дождём, гнилью из мусорных баков. А в то утро — я выползла из своего убежища в стене гаража и замерла — воздух был пустым. Ничего. Совсем ничего. Как если бы мир вымыли и забыли наполнить заново.

Я почувствовала холод. Не тот холод, к которому я привыкла за осень, — сырой, проникающий, — а другой, сухой, колючий, хватающий за нос и уши. Он был острее. Он кусался не изнутри, как голод, а снаружи, как тысяча невидимых зубов.

А позже я увидела белое.

Оно лежало на земле тонким слоем — пушистым, светящимся даже в сером утреннем сумраке. Я сначала не поняла, что это. Подошла ближе. Нюхнула. Никакого запаха. Тронула лапой — и отдёргнула. Оно было ледяным. И оно таяло, оставляя на подушечке мокрый след.

Снег.

Это слово было мне незнакомо. Кошкам неоткуда знать слова для вещей, которые убивают их. Но я быстро выучу. Я выучу его так же, как выучила «голод», «дождь», «одиночество». Через тело. Через боль.

Первый снег был тихим. Он падал беззвучно — не то что дождь, который барабанит по жести и лужам. Снег крался. Он ложился на мою спину, на уши, на усы, и я не замечала, пока не начинала дрожать. Он был коварным. Дождь предупреждает. Снег — нет.

Я помню тот день в деталях — хотя какой там день, это была целая эпоха. Я сидела у входа в гараж и наблюдала, как белые мухи падают с неба. Они кружились, танцевали, садились на асфальт и не таяли. Час, два, три. По моему времени — целый день прошёл в наблюдении за снегопадом. А он всё падал и падал.

К вечеру (человеческому вечеру — для меня прошла неделя) снега стало по щиколотку. Я вышла на поиски еды и провалилась. Лапы ушли в белую толщу, и холод обжёг сильнее, чем я могла представить. Он был не как вода — вода затекает под шерсть постепенно. Снег впивался сразу, всеми своими кристаллами, и таял прямо на коже, высасывая тепло.

Я дошла до помойки. Это был подвиг. Каждый шаг — десять сантиметров — давался усилием, ведь задняя лапа скользила и разъезжалась. Снег забивался между пальцами, налипал на шерсть, превращал мои лапы в ледяные комки.

У помойки никого не было. Даже чёрный кот, мой враг, исчез. Нашёл ли убежище или замёрз — я не знала. Да и какая разница: я ненавидела его, но сейчас обрадовалась бы даже его теплу. Прижалась бы к кому угодно, лишь бы согреться.

Мешки были замёрзшими. Пластик стал твёрдым, как стекло, и резал дёсны, когда я пыталась прогрызть его. Внутри — хлеб, но и он превратился в камень. Я грызла его, ломая молочные зубы, глотала ледяные крошки. Они таяли в животе и не давали сытости, только холод изнутри — в довесок к холоду снаружи.

Это была моя первая зима.

Первая неделя зимы длилась семь обычных дней, но отняла у меня столько сил, сколько у человека могли бы отнять семьдесят. За эту неделю я узнала о холоде всё.

Я узнала, что холод — это когда ты дрожишь, не переставая, даже во сне. Твои мышцы сокращаются сами, без приказа, и ты не можешь их остановить. Они трясут тебя, как собака трясёт тряпку.

Я узнала, что холод — это когда уши перестают чувствовать. Сначала они болят, следом немеют. Ты трогаешь их лапой и не понимаешь, твои ли это уши. Кончики становятся белыми, потом жёлтыми, затем чёрными. Я видела это у других кошек, тех, кто не пережил зиму. У них отваливались уши. И хвосты. И пальцы.

Я узнала, что холод — это когда хочется спать. Не так, как после сытного обеда (я помнила это чувство, смутно, из детства, из коробки). А по-другому: сон как омут, тянущий вниз, обещающий покой. Я читала про это позже — нет, я не умею читать, но я слышала обрывки человеческих разговоров на остановках. Они называли это «замёрзнуть насмерть». Говорили: «Он уснул и не проснулся». Теперь я понимала, о чём они. Сон был соблазном. Сон был врагом. Я боролась с ним каждую ночь: стоило закрыть глаза, как тело переставало дрожать, и это было приятно, и это было смертельно. Я заставляла себя вставать, ходить кругами, бить лапой о стену — лишь бы не уснуть.

Но самым страшным было обморожение.

Оно случилось в середине зимы — я не знаю точно, в какой день, потому что дни перестали отличаться друг от друга. Всё было белым. Всё было холодным. Всё было смертью.

Я шла через двор, проваливаясь в снег по живот. Мне нужно было добраться до булочной — не за едой даже, а за теплом. Из задней двери булочной всегда тянуло горячим воздухом, и я садилась у вентиляционной решётки и грелась. Это были мои лучшие часы. Единственные часы, когда дрожь прекращалась.

Но в тот день я не дошла.

Задняя лапа — та самая, хромая, проклятая, — подвела меня. Она застряла в сугробе, и я не смогла её вытащить. Я дёргалась, рвалась, грызла снег вокруг, но лапа сидела, как в капкане. Снег набился под шерсть, пропитал её, а позже замёрз коркой. Ледяной кокон.

Так прошло три часа — вечность по моей мере. Солнце зашло, мороз усилился, лапа перестала болеть. Это страшнее боли: боль означает жизнь, её отсутствие — смерть. Тихий брат тоже перестал сопеть и не проснулся. Я помнила.

Когда я наконец вырвала лапу — шерсть осталась в ледяной корке, кожа горела, — лапа больше не держала. Совсем. Она висела плетью. Я поползла на трёх лапах, волоча четвёртую, и доползла до вентиляционной решётки только к утру.

У решётки я легла и сталализывать лапу. Шершавый язык сдирал ледяную корку, и под ней открывалась кожа — бледная, почти белая, с синюшным отливом. Подушечки были твёрдыми, как камень. Я лизала и лизала, пока не началось жжение. Это было адской болью — словно лапу окунули в кипяток. Но я терпела. Потому что жжение означало: кровь вернулась. Я ещё жива.

Обморожение оставило шрам. На задней лапе, между пальцами, появилась проплешина. Шерсть там так и не отросла. И лапа стала ещё слабее — теперь она болела не только от хромоты, но и от холода, всегда, стоило температуре упасть ниже нуля. Каждая зима напоминала мне о той ночи в сугробе.

Но я выжила.

Другие умирали. Я видела замёрзших кошек на обочинах — скрюченных, с открытыми глазами. Снег заносил их до весны. Я должна была стать одной из них, но меня удерживало упрямство. Только оно.

Пожалуй, теперь я знаю.

Булочная.

Даже в самый лютый мороз я приползала к задней двери. Оставалась там до его перекура и следила за ним сквозь пар вентиляции. Он был тёплым. Живым. Он ничего обо мне не знал, а я уже существовала для него. Это «для него» грело лучше любой решётки.

Кроме того, у меня появилось убежище. После той ночи в сугробе я нашла новую нору — под крыльцом булочной. Там проходила труба отопления, и земля была тёплой. Совсем чуть-чуть, но этого хватало, чтобы не умереть во сне. Я спала там, свернувшись вокруг трубы, и слушала, как она гудит. Этот гул был голосом тепла. Голосом жизни.

И ещё я научилась ловить мышей. Зимой они тоже искали тепло и еду, и у булочной их было много. Первая пойманная мышь — это был триумф. Я съела её целиком, с шерстью и костями, и впервые за долгое время почувствовала себя не жертвой, а охотником. Пусть хромым. Пусть слабым. Но охотником.

Так прошла моя первая зима: три человеческих месяца, два с половиной кошачьих года. Не календарь — длинная белая полоса, в которой каждый новый вдох приходилось отвоёвывать.

Когда снег начал таять, я не поверила. Я думала, это обман. Думала, зима вернётся. Но снег исчезал, и из-под него показывалась земля — чёрная, мокрая, пахнущая прошлогодней травой. Появились первые птицы. Солнце стало задерживаться дольше, и я могла греться на ступеньках не час, а два, три. Это было счастьем.

Тогда я впервые вышла к передней части булочной, куда раньше не ходила из-за людей и опасности. Там была витрина — огромное стекло с жёлтым светом, полками горячего румяного хлеба и им.

Пекарь.

Он стоял за прилавком и вытирал руки о фартук. На нём была белая шапочка, сбитая набок. Он смеялся чему-то — я не слышала, стекло не пропускало звук, — но я видела, как дёргаются его плечи. Он был красивым. Он был солнцем.

Я села у витрины и стала смотреть.

С этого дня началась моя юность. Я, хромая, тощая, серая, с обмороженной лапой и шрамом на ухе, в первый раз выбрала кого-то сама — человека за стеклом.

Всё это случится позже. Пока же я сидела перед жёлтым аквариумом витрины, следила за его движениями и думала: «Вот он. Тот, к кому меня всё время тянуло».

Зима кончилась. Я выжила.

Начиналась эпоха стекла. Эпоха любви.

Глава 3. Витрина

3.1. «Свет в конце улицы»

Весна пришла не запахом — запахи вернулись позже, когда земля оттаяла и выпустила из плена прошлогоднюю траву. Весна пришла светом.

Я помню тот вечер. Солнце скрылось за крышами, но небо ещё оставалось синим, глубоким, как вода в чистой луже. Убежище под крыльцом держало меня до темноты. Ночь была союзником: в ней я становилась тенью, а тень может пройти куда угодно, даже хромя.

И вдруг — свет.

Он вспыхнул в конце улицы, где прежде темнело пыльное окно. Жёлтый, тёплый, живой. Я замерла: старый дом с облупившейся штукатуркой зимой стоял мёртвым, а теперь внутри горел свет.

Я подошла ближе. Не сразу — осторожно, перебежками, как училась. От водосточной трубы к мусорному баку, от бака к углу, от угла к ступенькам. Ближе, ближе. И вот я увидела.

Витрина.

Огромное стекло, вымытое до прозрачности. За ним — полки. На полках — хлеб. Настоящий хлеб, не тот, что я выгрызала из мёрзлых мешков у помойки. Круглые буханки, длинные багеты, булочки с корочкой, блестящей от масла. Они лежали на деревянных решётках, как драгоценности на витрине ювелира. От них шёл пар. Даже сквозь стекло я чувствовала — нет, не запах, — тепло. Оно струилось наружу тонкой волной, дрожало в воздухе, искажало контуры уличных фонарей.

Я села.

Села на тротуар, в трёх метрах от витрины, и стала глядеть. Это было прекраснее всего, что я видела в своей короткой жизни. Прекраснее подвала? Да. Прекраснее солнца, которое грело меня после зимы? Да. Ведь это был не просто свет. Это был свет, созданный человеком. Свет, означавший жизнь. Свет, означавший хлеб.

А потом я увидела его.

Он вышел из глубины булочной, из-за невидимой двери, и встал за прилавок. Пекарь. Тот самый, чьи шаги я выучила прошлой осенью. Тот, кто выносил мешки к помойке и курил у задней двери, поднимая лицо к небу. Вниз, к углу, где пряталась я, его глаза не опускались.

Теперь я видела его лицо.

Оно было молодым, но с морщинками у глаз — не старыми, а смешливыми, как будто он много шурился от солнца. Волосы светлые, прилипшие ко лбу от жары духовки. Плечи широкие, чуть присыпанные мукой. И руки.

О, его руки.

Я, кошка, никогда не думала, что руки человека могут быть красивыми. Для меня они были орудиями — те, что забрали братьев, те, что бросали камни, те, что выставляли миску с молоком. Но его руки были другими. Большие, с длинными пальцами, с вьёвшейся под ногти мукой. Они двигались плавно, бережно. Он поправлял буханки на полке, и делал это так, как мать поправляла нас в коробке, — нежно, заботливо.

Его руки удерживали мой взгляд.

А затем случилось то, чего я не ожидала. Он повернулся к витрине и посмотрел на улицу. Его взгляд скользнул по тротуару, по фонарю, по мне — и остановился. На секунду. Всего на секунду.

Я замерла. Сердце — тук-тук, тук-тук — разогналось так, что заболели рёбра. Он наконец смотрел прямо на меня. Видел. Впервые за всё время — видел.

Но его взгляд не изменился. Он не улыбнулся, не нахмурился, не присел, чтобы рассмотреть поближе. Он скользнул по мне, как по части пейзажа — как по трещине в асфальте, как по переполненной урне у фонаря. Грязная серая кошка у витрины. Мало ли их.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.